

Джулиан
Барнс

МЕТ-
РО-
ЛЕНД

Большой роман

Джулиан Барнс

Метроленд

«Азбука-Аттикус»

1980

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Барнс Д. П.

Метроленд / Д. П. Барнс — «Азбука-Аттикус»,
1980 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-14183-4

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10½ главах», «Попугай Флобера» и многих других. Возможно, основной его талант – умение легко и естественно играть стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий чуть ли не до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство – Барнсу подвластно все это и многое другое. «Метроленд» – это дебютный роман Барнса, «шедевр ностальгического эпатажа» (Vogue) и в то же время «одно из лучших в мировой литературе описаний семейного счастья» (Лев Данилкин). Роман получил престижную литературную премию имени Сомерсета Моэма и был экранизирован (режиссер Филип Савилл, в главных ролях Кристиан Бейл и Эмили Уотсон). Итак, добро пожаловать в Метроленд. О «бурных шестидесятых» и об их последствиях писали многие, но никто еще не делал этого так, как Барнс – единственный, кто не плакал, но смеялся над взлетом и падением прекрасной эпохи. В Метроленде люди когда-то пытались изменить мир – и сами не заметили, как мир изменил их... Перевод публикуется в новой редакции.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-14183-4

© Барнс Д. П., 1980
© Азбука-Аттикус, 1980

Содержание

Часть первая. Метроленд (1963)	9
1. Оранжевый с красным	11
2. Два мальчика	14
3. Кролики, люди	17
4. Конструктивные прогулки	21
5. J'habite Metroland[30]	24
6. Выжженная земля	29
7. Кривая вранья	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Джулиан Барнс

Метроленд

Julian Barnes
METROLAND

© Т. Покидаева, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство Иностранка®

* * *

Была бы вся проза так же тонко сконструирована, так же полна юмора и пищи для размышлений, как «Метроленд», – никто бы и не заикнулся о смерти романа.

New Statesman

Дебют – ну и что, что дебют: все равно прекрасный образчик хорошо темперированной британской изящной словесности. Строгая трехчастная структура, кольцевая композиция, золотое сечение. Сдержанно и иронично.

Метроленд – название пригорода Лондона, пограничная между метрополисом и деревней зона, в которой все особенное, вплоть до сексуальных пристрастий обитателей района. Именно отсюда происходит главный герой, похожий на Барнса молодой интеллектual, сноб, бунтарь, мечтатель и франкофил, знающий бодлеровскую «Пададь» как свои пять пальцев. Вместе с приятелем-одноклассником они фланируют по городу, философствуют и эпатируют буржуа. Сюжет романа – воспитание чувств, над пропастью во ржи, волшебная гора... Типично барнсовский сюжет – история взросления – в «Метроленде» оказывается историей девальвации метафоры; с годами герой понимает, что прямая номинация гораздо сильнее... Простое семейное счастье с его нежностью и ласками стоит всех звуко-символов Малларме и бодлеровских метафор. Вообще, в «Метроленде» – одно из лучших в мировой литературе описаний семейного счастья; прочтите: так оно все и бывает.

Лев Данилкин (Афиша)

Изумительно свежо, шедевр ностальгического эпатажа.

Vogue

«Метроленд» – описание бурных шестидесятых с точки зрения англичанина, студента-словесника, увлекающегося культурой Франции. Политические события уходят на второй план, это меньше всего объективное изложение исторических фактов, но как раз наоборот, субъективное повествование, фиксирующее эмоциональное восприятие мира обычным человеком, для которого его личная жизнь, личная история и французская литература гораздо важнее любых политических волнений.

Иностранная литература

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.

New Republic

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы буковевского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно... В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

Не указывает ли само название «Метроленд» на экфрасис будущего творения героя – проект «Истории Лондонского общественного транспорта» с рисунками и фотографиями? Последние в романе играют определенную роль (например, фотографии с изображением красивых мест по линии метро), но они не заменяют картин, рисунков, зданий. Зато в известной экранизации романа акценты смещаются: фотография вытесняет живопись, а жизнь – искусство...

Вестник Пермского университета

Барнс задает очень интересные вопросы: почему семейное счастье оказалось за бортом высокой поэзии/литературы? В какой момент семейный быт стал синонимом скуки, лицемерия, пивного пуза и глупого самодовольства? В какой момент здоровые отношения между людьми стали неинтересны писателям?

Писать о счастье действительно невероятно сложно (навскидку можно вспомнить «Старосветских помещиков» и Толстого до «Анны Карениной»; еще, пожалуй, «Дар» и «Память, говори» Набокова). История приучила нас к тому, что самые интересные сюжеты замешены на ревности, жадности и смерти, а самые ценные уроки мы извлекаем (или, чаще, не извлекаем) из предательств, поражений и катастроф. Счастье же по природе своей статично и самодостаточно, ему не нужны красивые метафоры и громкие слова, оно в них не нуждается, и потому оно – плохой материал для романа.

Так вот «Метроленд» в каком-то смысле вызов устоявшимся представлениям о роли счастья в западной литературе, Барнс пишет роман-ловушку...

Горький

Посвящается Лорин

Часть первая. Метроленд (1963)

*A noir, E blanc,
I rouge, U vert, O bleu¹.*

Артур Рембо

Нигде не написано, что в Национальную галерею нельзя приходить с биноклем.

Конкретно в ту среду, летом шестьдесят третьего, Тони ходил с блокнотом, а я – с биноклем. Пока что у нас получалось вполне продуктивное посещение. Там была молоденькая монашка в мужских очках, которая с умиленной улыбкой рассматривала «Чету Арнольфини» Ван Эйка, а потом вдруг нахмурилась и неодобрительно хмыкнула. Там была девчонка в замызганной куртке с капюшоном, которая буквально остолбенела перед алтарным образом Карло Кривелли и уже ничего вокруг не замечала, так что мы с Тони просто стояли с двух сторон и подмечали детали: слегка приоткрытые губы и легкое натяжение кожи на скулах («Заметил что-нибудь на виске со своей стороны?» – «Ничего». Так что Тони записал в блокноте: *«Дергается висок; только слева»*). Там был дяденька в темном костюме в белую полоску, с аккуратным косым пробором в дюйме над правым ухом, который весь корчился и извивался перед каким-то маленьким пейзажем Моне. Он надувал щеки, медленно показывался на каблуках, сдержанно выдыхал воздух и вообще был похож на воздушный шар с хорошими манерами.

Потом мы пошли в один из любимых залов – туда, где висела наша самая «полезная» картина: Ван Дейк, «Конный портрет Карла I». Перед картиной сидела тетенька средних лет в красном плаще. Мы с Тони тихонечко подошли к банкетке на другом конце зала и сделали вид, что нас очень заинтересовало какое-то жизнерадостное и ничем не выдающееся полотно Франса Хальса. Тони меня прикрыл, а я передвинулся чуть вперед и навел бинокль на тетку. Она сидела достаточно далеко, так что я мог без особого риска диктовать Тони свои наблюдения. Если даже она и услышит, что я что-то шепчу, так примет мой шепот за обычное для художественных галерей выражение благоговейного восторга.

В тот день в музее было не много народу, и никто не мешал тетке в красном плаще наслаждаться портретом в тишине и покое. А у меня было время додумать некоторые биографические детали.

– Доркинг? Бэгшот?² Сорок пять – пятьдесят. Лучшие годы уже позади. Замужем, двое детей, мужу давно не дает. С виду вроде счастливая, в душе недовольная.

Вот, собственно, и все. Теперь тетка взирала на портрет чуть ли не с религиозным благоговением. Сначала обвела его быстрым взглядом сверху донизу, а потом стала рассматривать более пристально. Иногда она наклоняла голову набок и выпячивала подбородок; иногда раздувала ноздри, как будто пыталась унюхать какие-то новые аналогии в картине, иногда безотчетно проводила руками по бедрам. Но постепенно она прекратила елозить и застыла как изваяние.

– Вид религиозного экстаза, – шепнул я Тони. – Ну ладно... квазирелигиозного. Запиши, неплохая фраза.

Я снова сосредоточился на ее руках. Теперь она стиснула ладони наподобие мальчиков-алтарников. Потом я опять поднял бинокль к ее лицу. Она закрыла глаза. Я это отметил.

¹ А – черная, Е – белая, И – красная, У – зеленая, О – синяя (фр.).

² Провинциальные города в южноанглийском графстве Суррей. (Здесь и далее примеч. перев.)

– Похоже, мысленно воспроизводит прекрасный образ, или смакует произведение, или вообще пребывает в эстетическом ступоре. Сложно сказать.

Я наблюдал за теткой в красном плаще минуты две, не меньше, а Тони с ручкой наготове ждал моих очередных комментариев.

У меня было два варианта: либо она действительно ушла в эстетическую нирвану, либо просто заснула.

1. Оранжевый с красным

Срезанная бирючина по-прежнему пахнет кислыми яблоками, как и тогда, когда мне было шестнадцать. Но это редкое затянувшееся исключение. В те годы все вокруг было другим: более восприимчивым и отзывчивым к аналогии и метафоре, чем теперь. Во всем было больше значений и больше трактовок; и истин, имеющих в наличии для свободного выбора, было значительно больше. И символизма во всем было больше. И мир содержал в себе больше.

Взять, к примеру, матушкино пальто. Она его сшила сама, при помощи портновского манекена, который жил в чулане под лестницей и рассказывал о женском теле все, при этом не говоря ничего (понимаете, о чем я?). Пальто было выворотным, то есть его можно было носить и налицо, и наизнанку. С одной стороны оно было ярко-красным, с другой – в крупную черно-белую клетку. Отвороты были отделаны тканью с «другой» стороны – на выкройке эта деталь обозначалась как «контрастный фрагмент у воротника». И на красной, и на клетчатой стороне были большие, почти квадратные накладные карманы. Теперь-то я понимаю, что это была просто мастерски сшитая вещь. Но тогда это лишь доказывало, что моя матушка – человек хитрый и даже двуличный.

Со всей очевидностью эта двуличность подтвердилась в тот год, когда мы всей семьей ездили отдыхать на Нормандские острова. Как выяснилось, в карманы мамино пальто как раз помещалось по одному плоскому блоку сигарет. И матушка протащила через таможенную четыре контрабандных блока «Синьор сервис». Я был возбужден донельзя и почему-то чувствовал себя виноватым. Но в то же время в глубине души у меня было стойкое ощущение, что мама поступила правильно.

Но и это еще не все, что можно извлечь из самого обыкновенного пальто. Его цвет, как и фасон, таил в себе один секрет. Однажды вечером, когда мы с мамой возвращались домой, я посмотрел на ее пальто, вывернутое в тот день на красную сторону, и увидел, что оно стало коричневым. Я взглянул на матушкины губы, и они тоже были коричневыми. И легко было догадаться, что, если она сейчас снимет перчатки (тогда еще белые, а теперь просто застиранные), ее красные ногти тоже будут коричневыми. Вполне заурядное явление в наше время; но тогда, когда натриевые фонари на улицах только-только появились, оранжевое освещение интриговало и даже волновало. Оранжевый в сочетании с красным дает темно-коричневый. Помню, тогда я еще подумал, что подобное может случиться только в предместье.

На следующий день в школе я рассказал об этом Тони. Он был моим лучшим другом, которому я доверял все секреты, обиды и почти все увлечения.

– Они даже спектр испоганили, – сказал я, заранее предчувствуя скуку из-за очередного, уже неизвестно какого по счету острого приступа возмущения.

– Ты ясней выражаться не можешь?

Насчет того, кто такие «они», у нас неясностей не возникало. Когда я говорил «они», я имел в виду собирательный образ всех законников, моралистов, поборников общественной нравственности и отсталых родителей из лондонских предместий. Когда «они» говорил Тони, он имел в виду то же самое, только из старого центра города. Никто из нас не сомневался, что это одинаковый тип людей.

– Цвета. Уличные фонари. Когда темно, они искажают цвета. Все становится коричневым или оранжевым. Такое впечатление, что ты на Луне.

В то время мы очень трепетно относились к цветам. Все началось во время летних каникул, когда я ходил гулять в парк и таскал с собой томик Бодлера. У него я прочел, что, если посмотреть на небо сквозь соломинку, его цвет будет более насыщенным и густым, чем

если смотреть просто так. Я сразу послал Тони письмо и поделился открытием. После этого мы и обеспокоились за цвета. Цвета – и с этим никто не поспорит – представляют собой чистейший абсолютизм для безбожников. И нам не хотелось, чтобы какие-то обыватели-бюрократы прибрали их к рукам. Они уже заполучили себе:

– ...язык...

– ...мораль...

– ...приоритеты в системе ценностей... но этому в принципе можно не придавать значения. Каждый волен выбрать свой путь и идти по нему с важным видом, наплевав на мнение окружающих. Но если они заграбастают и цвета?! Это будет уже катастрофа. Даже остаться самим собой станет проблематично. Смуглый Тони с его полными губами и ярко выраженными восточноевропейскими чертами в размытом оранжевом свете станет похожим на негра. Сам я – курносый, с абстрактно английским лицом (совсем еще детским, нетерпеливо ожидающим эпохального шага за грань зрелости) – был в этом смысле в относительной безопасности. Но я нисколько не сомневался, что «они» обязательно что-то такое придумают, чтобы добраться и до меня.

Как видите, в те дни у нас было немало поводов для беспокойства. А почему нет? Когда же еще беспокоиться о действительно важных вещах, как не в ранней юности?! Мы с Тони вовсе не волновались за нашу будущую карьеру, поскольку знали, что к тому времени, когда мы вырастем, государство будет платить таким людям, как мы, только за то, что они существуют – просто расхаживают по улицам, как эти «бутерброды» с объявлениями и плакатами, и рекламируют хорошую жизнь. Нет... нас волновало совсем другое: чистота языка, самосовершенствование, предназначение искусства и плюс к тому некоторые абстракции, неосознанные субстанции с большой буквы, как то: Любовь, Истина, Подлинность...

Наш блистательный идеализм вполне естественно проявлялся в форме воинствующего цинизма. Мы с Тони откровенно издевались над окружающими, причем из самых чистых – я бы даже сказал, искупительных, – побуждений. Мы избрали себе два девиза и руководства к действию: *écraser l'infâme*³ и *épater la bourgeoisie*⁴. Мы восхищались *gilet rouge*⁵ Готье и омаром Нерваля; нашей гражданской войной в Испании была *bataille d'Hernani*⁶. Мы распевали на два голоса:

Le Belge est très civilisé;
Il est voleur il est rusé;
Il est parfois syphilité;
Il est donc très civilisé⁷.

Последняя строчка приводила нас в полный восторг, и при любой возможности мы старались вернуть какой-нибудь ненарочитый омофон⁸ в наши с ним высокопарные диалоги на уроках французского. Сначала нужно придумать какую-нибудь совершенно бредовую, но грамматически правильную фразу с обязательным по-галльски презрительным замечанием в скобках по-английски... что-то типа:

³ Изводить тех, кто нам неприятен (фр.).

⁴ Эпатируют буржуазного обывателя (фр.).

⁵ Красной жилеткой (фр.).

⁶ Буквально в переводе с французского – битва Эрнани. Имеется в виду драма Виктора Гюго «Эрнани» (первая постановка 25 февраля 1830 г.), которая стала олицетворением битвы между классиками и романтиками.

⁷ Бельгия – очень культурная страна; Там есть воры и есть хитрецы; Иногда встречаются и сифилитики; Вот почему она очень культурная (фр.). Здесь и далее все построено на игре слов. Французские слова *civilisé* – «культурный, образованный» и *syphilité* – «больной сифилисом» пишутся по-разному, но произносятся одинаково и поэтому неразличимы на слух.

⁸ Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но имеют разное написание и значение, например «луг» – «лук».

«*Je ne suis pas, э-э... d'accord ce qui, ce que?* (нахмуренный взгляд в сторону учителя) Барбаровски – э-э... *a juste dit...*»⁹,

а потом – прежде чем учитель успеет оправиться от расстройств, услышав такую вот идиотскую фразу, – кто-то из нашей группы заговорщиков, давась смехом, должен вступить в разговор с репликой наподобие:

«*Carrément, M'sieur, je crois pas que Phillips soit assez syphilitisé pour bien comprendre ce que Барбаровски vient de proposer...*»¹⁰ –

и это всегда проходило.

Как вы уже наверняка догадались, мы с Тони так изощрялись в основном на французском. Нам нравилось, как он звучит: взрывные согласные и четкие, ясные гласные. И нам очень нравилась французская литература – из-за ее агрессивной воинственности. Французские авторы постоянно сражались друг с другом – защищали и очищали язык, устраняли сленговые словечки, составляли словари правильной речи, попадали под арест, их преследовали в судебном порядке за непристойное и непотребное поведение и высылали из страны, они настойчиво декларировали принципы Парнаса¹¹, отчаянно подсиживали друг друга в Академии искусств и плели интриги за литературные премии. Нас привлекала сама идея такого изощренного и бескомпромиссного буйства. Монтерлан и Камю были вратарями. Фотография из «Пари матч», где Анри де тянется за высоким мячом¹² (кстати, я ее вырезал и приклеил изолентой внутри своего шкафчика в раздевалке), пробуждала во мне такое же благоговение, как в Джеффе Глассе – подписанная фотография Джун Ричи с кадром из «Такого рода любовь»¹³.

В английской литературе вроде бы не было ничего похожего на это самое изощренное и бескомпромиссное буйство. И в ней точно не было никаких вратарей. Джонсон был буйным и несговорчивым, но для нас – все-таки недостаточно изощренным и разносторонним; в конце концов, он всю жизнь просидел в родной Англии и пересек Ла-Манш уже чуть ли не при смерти¹⁴. Чуваки вроде Йейтса, наоборот, были вполне изощренны и писали достаточно стильно, но почему-то всегда увлекались какими-то фейри и прочими сказочными приколами. Интересно, а как бы они отнеслись к тому, что все красное вдруг превратилось в коричневое? Первый бы вряд ли вообще заметил, а второй бы наверняка ослеп от потрясения.

⁹ «Меня нет, значит я кто-то... что-то? Барбаровски только что сказал...» (фр.)

¹⁰ «Определенно, мсье, я не думаю, что Филипп достаточно сифилитичен, чтобы правильно понять то, что Барбаровски ему только предложил...» (фр.)

¹¹ Парнасцы, Парнасская школа – группа французских поэтов второй половины XIX в., возглавлявшаяся Теофилом Готье и противостоявшая устаревшим канонам романтизма. Своим названием обязана трехтомной антологии «Современный Парнас» (1866, 1871, 1876).

¹² Анри де Монтерлан (1895–1972) – французский писатель, в период между Мировыми войнами увлекшийся футболом и корридой.

¹³ «Такого рода любовь» (*A Kind of Loving*, 1962) – драма Джона Шлезингера с Аланом Бейтсом и Джун Ричи в главных ролях, лауреат «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

¹⁴ Сэмюэл Джонсон (1709–1784), знаменитый английский критик и лексикограф, посетил Францию в 1775 г.

2. Два мальчика

Мы с Тони гуляли по Оксфорд-стрит, старательно изображая *flâneurs*¹⁵. Это не так просто, как кажется. Для начала необходимо наличие *quai*¹⁶ или хотя бы *boulevard*¹⁷; и даже если у нас более или менее получалось изображать бесцельную праздность самой *flânerie*¹⁸, всегда оставалось раздражающее ощущение, что у нас все равно не получится начать и закончить прогулку по собственному выбору. В Париже, когда вы идете гулять, вы встаете с измятой постели в какой-нибудь *chambre particulière*¹⁹; в Лондоне мы всегда выходили на станции «Тотнем-Корт-роуд» и шли в сторону Бонд-стрит.

– Не хочешь кого-нибудь поизводить? – предложил я, вертя в руках зонтик.

– Что-то лениво. Я вчера Дьюхерста сделал. – (Дьюхерст – это наш староста, который следит за дисциплиной. Он готовится стать священником, и вчера Тони действительно разбил его в пух и прах в жаркой метафизической дискуссии.) – Я бы лучше кого-нибудь поэпатировал.

– На шесть пенсов?

– Идет.

Мы пошли дальше, и Тони принялся высматривать потенциальную жертву. Продавец мороженого? Мелкая сошка, да и вряд ли достаточно буржуазен. Вон тот полицейский? Опасно. Полицейские у нас проходили в одной категории с монашками и беременными женщинами. Тони вдруг резко остановился, мотнул головой и снял с шеи галстук с эмблемой нашей школы. Я тоже снял галстук, аккуратно свернул его вокруг кисти и убрал в карман. Сейчас мы стали просто «неопознанными» мальчишками без особых примет – в белых рубашках, серых брюках и черных пиджаках, слегка присыпанных перхотью. Мы перешли через дорогу и направились к новому бутику (кстати, мы с Тони очень не одобряли такой лингвистический импорт) с вывеской «МУЖСКОЙ МАГАЗИН» большими буквами. Судя по виду, это было одно из тех новомодных и опасных заведений, где озабоченные продавцы входят вместе с тобой в примерочную кабинку с мыслью по-быстрому тебя изнасиловать, пока ты не успел натянуть штаны. Тони оглядел продавцов и выбрал самого респектабельного с виду: пожилого сидящего дяденьку с отстегивающимся воротничком, широкими манжетами и даже булавкой для галстука. Он явно здесь сохранился от прежних владельцев.

– Сэр, чем я могу вам служить?

Тони взглянул мимо него на открытые деревянные полки с нейлоновыми носками «Бонлон».

– Мне, пожалуйста, одного мужчину и двух маленьких мальчиков.

– Прошу прощения? – нахмурился булавка для галстука.

– Одного мужчину и двух маленьких мальчиков, – терпеливо повторил Тони голосом введливго покупателя, который знает, чего он хочет. Первое правило эпатажа: никогда не смеяться и никогда не отступать. – Любого размера.

– Не понимаю, сэр.

Я подумал, что, если учесть обстоятельства, это «сэр» звучит круто. Я хочу сказать, дядьке уже пора бы сломаться, правильно?

¹⁵ Праздных гуляк (фр.).

¹⁶ Набережной (фр.).

¹⁷ Бульвара (фр.).

¹⁸ Бесцельной прогулки (фр.).

¹⁹ Отдельной комнате (фр.).

– Господи боже! – раздраженно воскликнул Тони. – И вы себя называете «Мужской магазин»?! Чувствую, мне придется искать другое место.

– Да, сэр, пожалуй. Кстати, вы из какой школы?

На этом мы благополучно удрали.

– Крутой дядька, – буркнул я недовольно, когда мы на предельной скорости *профла-нировали* прочь.

– Ага. Как думаешь, хорошо я его сэпатировал?

– Очень неплохо, очень даже неплохо. – Мне действительно понравилось, как Тони провел эпатаж, и особенно то, как он выбрал правильного продавца, а не просто того, который стоял ближе всех к двери. – В общем, свои шесть пенсов ты заработал честно.

– Да я не об *этом*. Мне интересно, я его сэпатировал или нет?

– Еще как сэпатировал! Иначе он бы у нас не спросил, из какой мы школы. И ты заметил, что он называл тебя *сэром*?

Тони широко ухмыльнулся:

– А то!

В тот период мальчишеской жизни не было ничего круче, если тебя называли сэром. Это был предел наших мечтаний. Это было гораздо более ценно, чем получить разрешение ходить по парадной лестнице в школе; гораздо более ценно, чем не носить шапку; гораздо более ценно, чем сидеть на перемене на балконе шестого класса; и даже более ценно, чем ходить с зонтом. А это уже говорит о многом. Было время, когда я в трехмесячный летний семестр каждый день ходил в школу с зонтом – притом что за все эти три месяца дождя не было ни разу. Важен был статус, а не практическая польза. В школе ты использовал зонтик по назначению – фехтовал с одноклассниками и тыкал острым металлическим наконечником в ботинки ребят помладше; зато на улице, если ты шел с зонтом, ты как бы автоматически делался взрослым. Даже если росту в тебе футов пять от силы, даже если лицо у тебя все изрыто юношескими прыщами и ворсится подростковым пушком вместо взрослой щетины; даже если ты ходишь весь перекошенный на один бок из-за тяжелой крикетной сумки, набитой перепревшими регбийными футболками и вонючими спортивными туфлями, – если ты с зонтом, всегда есть ничтожный шанс, что кто-нибудь назовет тебя *сэром*. Незначительный шанс поймать всплеск удовольствия.

Утром по понедельникам мы с Тони всегда задавали друг другу одни и те же вопросы:

– Кого-нибудь поизводил?

– Боюсь, что нет.

– Сэпатировал?

– Так, немножко...

– Сэром тебя называли?

Дразнящая улыбка положительного ответа спасала даже самые бездарные выходные.

Мы считали, сколько раз нас назвали сэрами; мы запоминали самые выдающиеся разы и бесконечно пересказывали их друг другу с гордостью старых развратников, которые похвастаются своими победами; и разумеется, каждый из нас навсегда запомнил свой первый раз.

Кстати, я до сих пор с упоением вспоминаю мой первый раз. Это было, когда меня повели покупать первые длинные брюки. Мы с мамой поехали в Харроу, в магазин верхнего платья. Длинное, больше похожее на коридор помещение было уставлено ящиками с одеждой, громоздившимися друг на друга; из-за развешанных повсюду камуфляжных ветровок и вельветовых штанов – жестких, как картон, – торговый зал напоминал пересеченную местность для гонок с препятствиями. В какой бы одежде ты ни пришел в магазин, обратно ты выходил либо в сером, либо в бутылочно-зеленом. Там еще продавали коричневое, но мама

сказала, что в коричневом ходят только пенсионеры. В тот день лично мне предстояло выйти из магазина в сером.

Мама – дома и на работе женщина тихая и застенчивая – в магазинах вела себя громко и авторитарно. Некий глубинный инстинкт подсказывал ей, что существует одна иерархия, которую нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.

– Пожалуйста, мистер Фостер. Нам нужны брюки, – попросила она непривычно самоуверенным голосом. – Серые. Длинные.

– Да, конечно, мадам. – Мистер Фостер угодливо заулыбался. Потом повернулся ко мне. – Длинные. Разумеется, сэр.

Я мог бы хлопнуться в обморок или хотя бы улыбнуться. Но я просто стоял как дурак, оглушенный счастьем. Мистер Фостер встал передо мной на колени и добил меня окончательно:

– Мне надо снять мерку, сэр. Смотрите прямо перед собой. Плечи расправьте. Ноги слегка раздвиньте. Замечательно, сэр. Вот так.

Он снял с шеи сантиметр, кончик которого был укреплен медной пластинкой длиной дюймов шесть. Придерживая пластинку на отметке пять дюймов (вероятно, чтобы не попасть под статью), он трижды ткнул меня металлическим кончиком сантиметра в промежность.

– Стойте спокойно, сэр.

Его льстивый, угодливый тон предназначался скорее для матушки. На тот случай, если она вдруг задумается, чего он так долго возится. Впрочем, я даже не дернулся. Я так и стоял обалдевший. Страх за свои половые железы и даже смутные опасения, что сейчас меня схватят в охапку, затащат в примерочную и изнасилуют в извращенной форме, – это было ничто по сравнению с тем, что меня назвали *сэром*. То есть признали мужчиной. Взрослым. Это было такое ошеломляющее удовольствие, что мне даже и в голову не пришло прошептать – в качестве предупредительного утешения – наш школьный клич: «Абзац!»

3. Кролики, люди

– АбзааааАААААаац!

Это был наш школьный клич – с обязательным растягиванием второй гласной и подвываниями наподобие воя гиены, как мы его себе представляли. Самый кошмарный визг получался у Гилкрита; Ли завывал с таким надрывным придыханием; впрочем, у всех получалось более или менее сносно. Этот вопль – пусть и в игривой форме – выражал навязчивый страх девственника перед кастрацией и использовался по любому подходящему поводу: если у тебя падал стул, если тебе наступали на ногу, если терялся пенал. Его выкрикивали возбужденные зрители, когда кто-то из нас пытался в шутку изобразить бой без правил: противники приближались друг к другу, прикрывая левой рукой промежность и вытянув правую руку вбок – ладонь от себя, пальцы скрючены наподобие когтей и скребут воздух. А зрители, собравшиеся в кружок, сдавленно повизгивали:

– АбзааАААаац!

Но шутки шутками, а за ними маячил вполне настоящий страх. Мы все читали про то, как нацисты делали мужиков импотентами с помощью рентгеновского облучения, и дразнили друг друга, мол, это может случиться с каждым. И если такое произойдет с тобой, то тебе конец: судя по книгам, ты растолстеешь и из тебя не получится ничего выдающегося – будешь всю жизнь у других на побегушках. Либо вот такое унылое существование, либо финансовые обстоятельства принудят тебя уехать в Италию и петь там в опере. Никто из нас точно не знал, с чего начинается и как происходит весь этот кошмарный процесс; но он был как-то связан с примерочными в магазинах, с общественными туалетами и с поездками поздно вечером на метро.

Если же по счастливой случайности – а шансы, видимо, были ничтожно малы – кто-то спасался целым и невредимым, он никому ни о чем не рассказывал. Наверняка это было что-то по-настоящему интересное, иначе сведения не были бы так засекречены. Но *что именно?* И как об этом узнать?

Полагаться на родичей было никак нельзя; двойные агенты, они сразу прокалывались, пытаясь выдать тебе заведомо ложную информацию. Своих я проверил на простейшем вопросе – ответ на который, разумеется, уже знал, – и они срезались. Как-то вечером, читая заданный в школе отрывок из Библии, я спросил матушку, оторвав ее от сосредоточенного изучения журнала «Она»:

– Мам, а кто такой евну́х? – с ударением на последний слог.

– Ну, я точно не знаю, – отозвалась она нарочито спокойным голосом. (Кстати, вовсе не исключено, что она и вправду не знала.) – Давай спросим у папы. Джек, тут Кристофер интересуется, кто такой евнух... – (С ударением на первый слог. Такой тонкий ход: поправить произношение, но при этом сделать вид, что ты не знаешь значения слова.)

Отец оторвался от своего журнала по бухгалтерскому учету (неужели ему на работе не надоело?!), на секунду задумался, провел ладонью по лысине, снова задумался, снял очки и задумался в третий раз. Все это время он смотрел на матушку (неужели настал Тот Самый Момент?), а я делал вид, что поглощен Библией, как будто натужное изучение контекста могло подсказать мне ответ. Отец открыл было рот, но тут матушка заговорила своим «магазинным» голосом:

– Кажется, это слуга-абиссинец или что-то типа того, правильно, дорогой?

Я чувствовал, как они сверлят друг друга глазами. Мои подозрения подтвердились. Я быстро проговорил:

– Ага, и по контексту подходит... спасибо.

Еще один путь перекрыт. На школу, где, по идее, тебя должны всему учить, тоже надеяться не приходилось. Полковник Лоусон – наш нервный и дерганный учитель биологии, которого мы презирали, потому что однажды, когда ударил ученика, он потом перед ним извинился, – и так ходил с красной рожей; но мы были уверены, что если бы он мог краснеть, он бы точно краснел всякий раз, когда дважды в неделю на протяжении всего семестра на его дежурное «Есть вопросы?» в конце урока кто-то из нас обязательно интересовался:

– А когда мы начнем размножение человека, сэр? В программе у нас стоит.

Мы знали, что он не отвертится. Гилкрист – проныра, каких поискать, – где-то раздобыл программу по всем билетам к экзаменам и обнаружил неопровержимую истину. В конце курса по общей биологии стояла тема: РАЗМНОЖЕНИЕ: РАСТЕНИЯ, КРОЛИКИ, ЛЮДИ. Мы отслеживали вялое продвижение Лоусона от темы к теме, как следопыты-индейцы следят за самоубийственно предсказуемым отрядом кавалерии Соединенных Штатов. Наконец из всей программы осталось только два необсужденных слова – КРОЛИКИ, ЛЮДИ – и два урока до конца семестра. Лоусон заехал в каньон, который заканчивался тупиком.

– На следующей неделе, – сообщил Лоусон в начале первого из этих двух последних уроков, – у нас будет контрольная по всему курсу...

– Абзац, – тихонько выдохнул Гилкрист, а по классу прошел разочарованный шепоток.

– ...а сегодня у нас по программе размножение млекопитающих.

Тишина. Кое у кого из ребят даже встало в штанах от такой перспективы. Лоусон знал, что в тот день у него с нами проблем не будет; весь урок он рассказывал нам про кроликов, частично на латыни, а мы слушали внимательно, как никогда, и даже пытались что-то записывать. Честно сказать, ничего ЭТАКОГО он нам не сообщил. Вполне очевидно, что у людей все же не совсем так. Особенно насчет... В общем, когда до нас начало доходить, что Лоусон так ничего и не сказал по существу, до конца урока осталось минуты три. Наша досада была очевидной. И вот наконец, когда до конца урока оставалась одна минута:

– Есть вопросы?

– Сэр, а когда размножение человека? У нас в билетах стоит.

– Э... – отозвался он (с глупой улыбкой, как нам показалось). – Ну... у человека все так же, как у других млекопитающих. – После чего гордо вышел из класса.

Вообще получить сколько-нибудь полезную информацию в школе не представлялось возможным, во всяком случае – по официальным каналам. Из тома «Дом и семья» Большого энциклопедического словаря в нашей школьной библиотеке были вырваны все страницы, посвященные планированию семьи. Единственный оставшийся доступным источник был слишком рискованным – класс конфирмации, который вел сам директор. Там была краткая тема по семье и браку, «которая в ближайшее время вам не понадобится, но получить определенное представление будет не вредно, а даже полезно». Все действительно было очень безвредно. Правда, и пользы не было никакой. Самый фривольный оборот, употребленный мрачным и подозрительным властелином наших жизней, звучал так: «Взаимоутешение и дружеская поддержка». В конце урока он указал на стопку брошюр на уголке своего стола.

– Если кому-то нужны дополнительные сведения, можно взять книжку. Только потом принесите обратно.

С тем же успехом он мог бы сказать: «Кто дрожит чаще шести раз в день, поднимите руки». Я не видел, чтобы кто-нибудь взял ту брошюрку. Я не знаю никого, кто бы взял. Я даже не знаю никого, кто бы знал про кого-то, кто взял брошюрку. На самом деле даже замедлить шаг, проходя мимо директорского стола, считалось великим позором.

В общем, как любил говорить Тони, мы были полностью предоставлены нашей испорченности. Нам приходилось доходить до всего своим умом; и то, до чего мы доходили, являло собой пример совершеннейшей путаницы. Нельзя было просто спросить у других мальчи-

шек: например, у Джона Пеппера, который хвастался, что у него «была» замужняя женщина, или у Фазза Вули, который исчеркал красным весь календарик – якобы критические дни его девушек. Спрашивать было нельзя, потому что все шуточки и разговоры на данную тему по определению предполагали, что все собеседники в равной мере знают, о чем говорят; признаться, что ты ничего не знаешь, означало бы расписаться в собственной несостоятельности – последствия были бы непредсказуемыми, но уж точно кошмарными, типа того, как если бы ты не стал переписывать и рассылать дальше «письмо счастья».

Конечно, общее представление о «главном» мы с Тони имели – даже по скудным объяснениям Лоусона можно было понять, что и куда надо вводить, – но материально-техническое обеспечение процесса оставалось для нас непонятным. Так же слабо мы себе представляли, как голая женщина выглядит *на самом деле*. Основные сведения по этому вопросу мы черпали из журнала «Нэшнл джиографик» – обязательного чтения школьных интеллектуалов; хотя было сложно восстановить целостную картину по фотографиям пигмеек с раскрашенными и татуированными телами и в непереносимых набедренных повязках. Рекламы бюстгальтеров и корсетов, афиши фильмов «детям до шестнадцати», иллюстрации в «Истории искусства» сэра Уильяма Орпена – информацию приходилось собирать буквально с миру по нитке. А потом Брайен Стайлс принес в школу «Спэн», нудистский журнал карманного формата, и все более или менее прояснилось. Так вот *она все* какое, подумали мы, разглядывая отретушированный низ живота женщины на батуте.

Но при всей нашей перманентной озабоченности мы были непробиваемыми идеалистами. И одно другому нисколько не противоречило. Мы не выносили Расина – мы вполне допускали, что на месте его героев, может, и испытывали бы те же самые сильные чувства, но нас бесили его сюжеты, которые неизменно сводились к этакому буйству страстей, цепляющихся друг за друга. А вот Корнель был, что называется, наш человек. Или, вернее, его женщины были нашими женщинами – страстные, но при этом кроткие и верные долгу, преданные и непорочные, то есть девственные. Мы с Тони всегда обсуждали женщин, хотя почти все разговоры сводились примерно к следующему:

– То есть надо жениться на девственнице? – (Не важно, кто из нас начинал.)

– Ну, в общем-то, не обязательно. Но если ты женишься не на девственнице, она может оказаться нимфоманкой.

– Но если жениться на девственнице, она может оказаться фригидной.

– Ну... если она будет фригидной, можно ведь развестись и найти другую.

– А если...

– ...а если женишься на нимфоманке, ты не сможешь сказать, что она тебе не дает, и развода не получишь. Придется с ней жить. И это будет уже...

– ...абзац. Полный.

Мы обращались к Шекспиру, Мольеру и другим непререкаемым авторитетам. Они все соглашались с тем, что затиранный муж – это вам не шутки.

– Стало быть, надо жениться на девственнице.

– Стало быть, надо.

На этом мы и сходились.

Но на практике все было гораздо сложнее, чем в теории. Как отличить нимфоманку от нормальной девчонки? Как узнать, девственница она или нет? И самое главное – как распознать хорошую жену: она должна выглядеть как нимфоманка, но на самом деле быть девственницей.

Очень часто по дороге из школы домой мы с Тони встречали в метро двух девчонок из соседней с нами женской школы. Они тоже садились на станции «Темпл» и ждали того же поезда, что и мы. Красные форменные костюмчики, темные волосы у обеих, аккуратные прически и *настоящие чулки*. Их школа располагалась буквально через дорогу от нашей,

но общение и знакомства не поощрялись. У них даже уроки заканчивались на пятнадцать минут раньше, чтобы они держались подальше от... от чего? Интересно, а по мнению самих девчонок, от чего им надо было держаться подальше? *Ergo*²⁰, те девчонки, которые ехали с нами в одном поезде, специально дожидались нас на перроне, чтобы ехать с нами в одном поезде. *Ergo*, они хотели, чтобы мы их заметили и подошли познакомиться. *Ergo*, они были потенциальными нимфоманками. *Ergo*, мы с Тони упорно не отвечали на их застенчивые улыбки.

²⁰ Следовательно (*лат.*).

4. Конструктивные прогулки

По средам нас отпускали с уроков пораньше. Уже в половине первого толпы мальчишек вываливались на набережную Виктории из боковых дверей средней школы имени королевы Виктории, запихивая на ходу свои школьные шапочки в ранцы и сумки; пару минут спустя, небрежно помахивая зонтами, с переднего крыльца неторопливо спускались степенные шестиклассники, которые не носили шапочек даже в здании школы. По средам Историческое общество устраивало учебные экскурсии в Хэтфилд-хаус²¹; фанаты Объединенного кадетского корпуса²² начищали штыки; спортивные парни расходились по своим секциям со свернутыми полотенцами под мышками, с рапирами, крикетными молотками и боксерскими перчатками. Самые робкие и боязливые спешили домой, справедливо рассудив, что для насильников и маньяков, которые кастрируют маленьких мальчиков прямо в метро, еще рановато.

Мы с Тони не отказывали себе в удовольствии побродить по городу. Это времяпрепровождение мы называли конструктивными прогулками – в том смысле, что слонялись мы вроде бы без дела, но с пользой. Мы где-то вычитали, что в Лондоне есть все, что нужно человеку. Конечно, в других местах тоже было интересно, и мы с Тони собирались когда-нибудь попутешествовать (хотя мы оба бывали за городом и нам там не нравилось: скучно там было, уныло и скучно), потому что все наши источники – *авторитетные* источники – утверждали, что это полезно для мозгов. Но все начиналось с Лондона; и именно в Лондон ты возвращался потом, умудренный опытом. А прогулки по городу – это был верный способ проникнуть в секреты Лондона. *Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire*²³.

Именно Тони первым сформулировал концепцию конструктивных прогулок. Он утверждал, что наше время проходит в двух крайностях – мы либо насильственно впихиваем в себя знания, либо насильственно развлекаемся. В принудительном порядке. Его теория заключалась в том, что если просто гулять по городу в «беззаботной, беспечной» манере, но при этом внимательно наблюдать за всем, что происходит вокруг, только тогда ты узнаешь жизнь по-настоящему, как она есть, – соберешь все «мимолетные впечатления» *flâneur*²⁴. Еще нам очень нравилось наблюдать за людьми: что они делают и как сами себя утомляют. Мы бродили по переулкам рядом с Флит-стрит и наблюдали за тем, как разгружают свежие газеты – еще не разрезанные пачки. Мы шатались по уличным барахолкам и по открытым судам, топтались у дверей пабов и перед витринами магазинов женского белья. Мы ходили с биноклем в собор Святого Павла якобы для того, чтобы лучше рассмотреть фрески и мозаику под куполом, но на самом деле – чтобы было удобнее наблюдать за молящимися прихожанами. Мы присматривались к проституткам – как мы весьма проницательно рассудили, кроме нас, это были единственные существа, более или менее понимающие в конструктивных прогулках, – которые в те времена еще носили свой отличительный знак – тонкую золотую цепочку на щиколотке. Мы спрашивали друг у друга:

– Как ты думаешь, она ищет клиента?

Мы ничего не делали. Только наблюдали. Хотя однажды туманным вечером к Тони привязалась одна близорукая (или совсем уже отчаявшаяся) шлюха. На ее деловитый вопрос:

²¹ Один из наиболее известных загородных особняков в Англии; расположен неподалеку от Лондона; при Генрихе VIII был королевской резиденцией.

²² Организация военной подготовки при привилегированных частных средних школах и классических школах.

²³ Лучше сразу загубить свою молодость, чем вообще ничего не делать (*фр.*).

²⁴ Праздного гуляки (*фр.*).

«Пойдешь со мной, красавчик?» – Тони ответил вполне уверенно, пусть даже и сдавленным голосом: «А сколько ты мне заплатишь?»

– Никуда не годится, – сказал я.

– Почему?

– Нельзя *épater la Bohème*²⁵. Это нелепо по определению.

– Почему нет? Шлюхи суть неотъемлемая часть буржуазной жизни. Взять хотя бы твоего любимого Мопассана. Как собаки стараются подражать хозяевам, так и шлюхи перенимают мелочные обывательские добродетели своих клиентов.

– Неправильная аналогия. Скорее клиенты – собаки, а шлюхи – хозяйки...

– Это не важно, если ты принимаешь закон взаимного влияния...

И тут мы с Тони сообразили, что никто из нас не заметил реакции шлюхи, которая спокойно ушла себе восвояси, пока мы с ним изощрались. А вдруг ей понравилась шутка? Тогда это был бы уже никакой не эпатаж.

Однако такой «непосредственный контакт» считался малорентабельным и, в общем-то, бесполезным. Мы с Тони предпочитали не разговаривать с людьми, поскольку это мешало беспристрастному наблюдению. Если бы нас спросили прямо, что мы пытаемся отыскать, мы бы, наверное, ответили: «*Musique savante de la ville*²⁶ Рембо». Мы охотились за зрелищными сценками, за городскими красотоми, за людьми – как будто заполняли очередную книжку из серии «Я видел – знаю»²⁷, – только наша книжка была необычная, потому что мы никогда не знали заранее, что именно хотели найти, и только когда видели что-то, что сразу цепляло взгляд, понимали, что именно это мы и искали. В этой коллекции впечатлений были и недостижимые идеалы – например, пройтись по мокрой булыжной мостовой в свете газовых фонарей и чтобы где-то вдали звучала шарманка, – но мы пребывали в отчаянных поисках оригинального, живописного и настоящего.

Мы охотились за эмоциями. Вокзалы снабжали нас слезными прощаниями и шумными встречами. Здесь все было просто. Церкви предоставляли нам пылкий обман «истинной» веры, хотя тут приходилось действовать осторожно. Подъезды на Харли-стрит обеспечивали нас паническим страхом, который испытывают люди на пороге смерти. А Национальная галерея, наше любимое место для охоты за впечатлениями, давала нам замечательные образцы чистейшего эстетического наслаждения – хотя, если честно, они оказались отнюдь не такими частыми, чистыми и изысканными, как мы надеялись поначалу. Возмутительно часто, на наш скромный взгляд, сцены, которые мы наблюдали в этом храме искусства, были бы более уместны на вокзале Виктория или Ватерлоо: люди воспринимали Моне, Сёра или Гойю на манер пассажиров, только что сошедших с поезда: «Ба! Какой приятный сюрприз! Я знал, конечно, что ты будешь на месте, но мне все равно очень приятно. И кстати, ты ни капельки не изменился – замечательно выглядишь, как всегда. Ни капельки не постарел, ну буквально ни капельки...»

Причина, почему мы так часто ходили в Национальную галерею, была очевидна. Мы исходили из того (и никто из наших знакомых в здравом уме не стал бы оспаривать данное утверждение), что самое важное в жизни – это Искусство, некая непреходящая константа, которой нельзя изменять ни при каких обстоятельствах и которая неизменно вознаграждает тебя за верность, а именно – благотворно влияет на тех, кто подвержен его влиянию. Люди, *проникишиеся* искусством, становятся не только более культурными и достойными интереса, они становятся *лучше* в самом широком смысле – добрее, мудрее и прекраснее, – они стано-

²⁵ Эпатируют богему (фр.).

²⁶ Странную музыку города (фр.).

²⁷ Серия книжек для детей «Викторина в картинках». По рисункам в книжке надо опознавать исторические здания, цветы, овощи, самолеты и т. д.

вятся более миролюбивыми, более активными, более чувствительными. А если нет, то зачем вообще затевать «встречи с прекрасным»? С тем же успехом можно пойти и кому-нибудь отсосать. *Ex hypothesi*²⁸ (как мы говорили с Тони, или, на самом деле, *ex vero*²⁹), в тот момент, когда человек постигает произведение искусства, он становится чуточку лучше. И логично было бы предположить, что за этим процессом можно проследить со стороны.

Но если честно, после нескольких сред в галерее мы с Тони начали чувствовать себя немножко как те любознательные врачи в восемнадцатом веке, которые подбирали мертвецов с поля боя и резали свежие трупы, чтобы обнаружить вместилище для души. Причем кое-кто был уверен, что у него получилось. Не помню фамилию того шведского врача, который взвешивал своих умирающих пациентов – прямо вместе с больничной койкой – за несколько минут до смерти и сразу после. Разница в двадцать один грамм вроде как доказывала существование души. Мы с Тони вовсе не ждали, что у наших «подопечных» из галереи изменится вес, но мы рассчитывали на какие-то результаты. Нам казалось, что *что-то* увидеть можно. И иногда это было что-то действительно интересное. Но чаще всего мы наблюдали чисто внешние реакции, причем в стандартном наборе: этакая скучная вереница безликих ценителей с благоговейно выпученными глазами, смешливых или скучающих школьников, эстетов с презрительными улыбочками, сосредоточенных реставраторов и копиистов. Мы изучили все позы художественного созерцания: сосредоточенная задумчивость, с подбородком, подпертым ладонью; мужественно-агрессивная, вызывающая поза «руки в боки»; поза вдумчивого изучения путеводителя; гонки галопом по залам. Иногда нам казалось, что мы зря считаем себя умнее других, потому что на самом деле мы ничем не отличаемся от объектов наших наблюдений.

Со временем, пусть и с большой неохотой, но мы все-таки пришли к тому, чтобы экспериментировать друг на друге. Все проходило у Тони дома, в условиях, которые мы считали близкими к лабораторным. То есть, рассматривая картины, мы затыкали уши специальными такими затычками; а слушая музыку, завязывали глаза регбийным носком. Испытуемому давалось пять минут на созерцание, скажем, «Руанского собора» Моне или на прослушивание отрывка из симфонии Брамса, а потом он подробно описывал свою реакцию. Поджимал губы, как беспробудный пьяница, и периодически задумчиво умолкал. Все аналитические методы типа «форма и содержание», которые мы учили в школе, для данного случая не подходили. Мы пытались докопаться до чего-то, что было гораздо проще, честнее и глубже, – до самых элементарных истин. Что ты чувствуешь и как изменяется твое восприятие, если ты выполняешь все рекомендуемые установки?

Тони всегда отвечал на вопросы с закрытыми глазами, хотя это было вовсе не обязательно. Он хмурил брови, тихонько мычал, а потом выдавал:

– Мышечное напряжение, в основном – руки, ноги. Бедрa подрагивают. Возбуждение, да. По-моему, все-таки возбуждение. Такое радостное оживление, вот. Приятная легкость в груди. Уверенность в своих силах. Но не самодовольство, нет. А вообще настроение добродушное, но решительное. Самое подходящее настроение для небольшого дружеского эпатажа.

Я все записывал в нашу тетрадку, в правый столбец. В левом уже был обозначен источник вдохновения: «Глинка. „Руслан и Людмила“. 9.12.63».

Все это было частью обширной программы, которую мы проводили с целью помочь всему миру осознать себя.

²⁸ Гипотетически (лат.).

²⁹ Истинно (лат.).

5. J'habite Metroland³⁰

- Без корней.
- *Sans racines*³¹.
- *Sans Racine*?³²
- Открытый путь? Духовный бродяга?
- С пригоршней фантазий в узелке из носового платочка в красную крапинку?
- *L'adieu suprême d'un mouchoir*?³³

Мы с Тони гордились своим «безродством», то есть отсутствием всяких корней. Мы стремились и в будущем сохранить это безродное состояние и не видели никаких противоречий в двух взаимоисключающих умонастроениях; нас не смущало и то, что мы оба жили с родителями, которые, кстати сказать, были «свободными землевладельцами», то есть частными собственниками отдельных домов.

По части «безродства» Тони превосходил меня на голову. Его родители были польскими евреями, и хотя мы не знали этого точно, мы были уверены, что им удалось спастись из варшавского гетто буквально в последнюю минуту. Все это давало Тони следующие преимущества: ярко выраженную иностранную фамилию Барбаровски, два языка, наследие трех культур и ощущение (по его утверждениям) атавистической ностальгии – короче, истинный шик. Он и внешне был настоящий изгнанник-эмигрант: нос картошкой, полные губы... смуглый, маленький в смысле роста, энергичный и волосатый. Уже тогда ему приходилось бриться каждый день.

Несмотря на досадные недостатки уроженца «домашнего графства»³⁴ – я был англичанином и неевреем, – я тоже старался как мог в плане искомого безродства. Наше семейство было немногочисленным, но и у нас было немало такого, что могло бы сойти за некоторую космополитичность. Мои родители тоже были в каком-то смысле переселенцами. Ллойды (я имею в виду, *наши* Ллойды, Ллойды по папиной линии) происходили из Бейсингстока; родня по маминой линии – из Линкольна. С родственниками, которые со временем расселились по нескольким графствам, мы почти не общались. На Рождество все таились, и в полном составе семейство собиралось разве что на чьи-то похороны и иной раз – на свадьбу, если пригласят. За исключением дяди Артура, который жил близко от нас – до него можно было добраться на пригородной электричке, – все остальные наши сородичи были недостижимы; что меня, кстати, вполне устраивало, поскольку при таком раскладе мне ничто не мешало представлять их себе такими колоритными неотесанными крестьянами, грубиянами-мастерами или эксцентричными чудаками с большой-большой придурью. С их стороны требовалось только одно: раскошелиться на подарки к Рождеству – в виде денег или просто чего-нибудь ценного, что можно было бы конвертировать в деньги же.

Я был почти таким же смуглым, как Тони. Но я был выше на несколько дюймов. Кое-кто, наверное, назвал бы меня худосочным и тощим, но лично я предпочитал такое определение своей конституции: гибкая сила молодого деревца. Мой нос – как я очень надеялся – еще должен был чуточку вырасти; кожа у меня на лице была чистой, без всяких веснушек и родинок; время от времени у меня на лбу появлялись прыщи, но быстро проходили; красивее всего, на мой скромный взгляд, у меня были глаза – глубокие, выразительные и угрюмые,

³⁰ Я живу в Метроленде (фр.).

³¹ Без корней (фр.).

³² Без Расина (фр.).

³³ Последнее прости носового платочка? (фр.)

³⁴ Домашними графствами называются графства, окружающие Лондон.

глаза, заключавшие в себе тайны, которые я уже знал и которые мне еще предстояло узнать (во всяком случае, именно так это виделось мне).

В общем-то, это было невыразительное и непритязательное английское лицо, которое вполне соответствовало непритязательному ощущению экспатриации³⁵, свойственному всем обитателям Иствика. Такое впечатление, что буквально каждый из жителей этого пригорода – а всего там жило около двух тысяч человек – переехал сюда из какого-то другого места. Их привлекали добротные и при этом недорогие дома, надежное транспортное сообщение и хорошая земля под сады. Меня ободряла и обнадеживала уютная и управляемая «безродность» этого места; хотя я постоянно жаловался Тони, что предпочел бы что-нибудь «более примитивное, буйное и бесконтрольное. Мне бы хотелось... ну, как бы это сказать... быть проще, свободнее. Вроде как раскрыться навстречу миру и поймать его весь...».

«Поймать – в смысле оттрахать».

Да, наверное, и это тоже. Во всяком случае, о чем-то таком я думал.

– *Où habites-tu?* – мурыжили нас на французском из года в год, натаскивая к устному экзамену, и я всегда отвечал с самодовольной улыбкой:

– *J'habite Metroland*³⁶.

Это звучало красивее, чем Иствик, и интереснее, чем Миддлсекс. Это было похоже, скорее, на умозрительную концепцию, чем просто на место, где ты ходишь по магазинам. И так, кстати, оно и было. Когда в 1880-х годах линию «Метрополитен» провели дальше на запад, на той стороне образовалась узкая полоска земли без всякой географической или идеологической консолидации: люди переезжали туда исключительно потому, что оттуда было удобно добираться до центра. Название «Метроленд» – оно появилось во время Первой мировой войны, и его сразу приняли и агенты по продаже недвижимости, и администрация железной дороги – придало отдаленному сельскому пригороду некую иллюзорную целостность.

В начале шестидесятых линия «Метрополитен» (говоря о которой сторонники чистоты литературного языка имеют в виду железнодорожные ветки до Уотфорда, Чешема и Эмерсхэма) еще сохраняла свою первоначальную обособленность. Подвижные составы отличительного коричневого цвета за шестьдесят лет совершенно не изменились; я вычитал в справочнике Иэна Аллена, что некоторые действующие паровозы сохранились еще с девяностых годов прошлого века. Вагоны были высокими, угловатыми и прямоугольными, с широкими деревянными подножками; внутри они были роскошно просторными по современным стандартам, а ширина сидений вызвала невольное восхищение мощной комплекцией англичан времен короля Эдуарда. Спинки сидений были наклонены под таким углом, что можно было с уверенностью предположить: в прежние времена поезда стояли на станциях дольше.

Над сиденьями были развешены фотографии цвета сепии с изображением городских и пригородных красот, мимо которых проходит линия: гольф-клуб Сэнди-Лодж, Пиннер-Хилл, Мур-парк, Чорливуд. Внутреннее убранство осталось почти неизменным: широкие плотные сетки для багажа с одежными крючками на поддерживающих распорках; широкие кожаные ремни на окнах и дверях, чтобы они не захлопывались и держались в заданном положении; «жирные» позолоченные цифры на дверях, 1 или 3; медная накладная замка над медной же дверной ручкой; и надпись, выгравированная на накладке, – то ли приказ, то ли соблазнительное приглашение: «Приезжайте жить в Метроленд».

Я много лет изучал подвижные составы на нашей ветке. Уже с платформы я различал на глаз широкие и экстраширокие вагоны. Я знал наизусть все рекламные объявления, раз-

³⁵ Добровольное или принудительное выселение за пределы родины.

³⁶ Где ты живешь? – Я живу в Метроленде (фр.).

вешенные на станциях, и все декоративные украшения на цилиндрических сводах. Я изучил весь ассортимент воображения тех людей, которые подправляют надписи «НЕ КУРИТЬ» на окнах. «НЕ КОРИТЬ» и «НЕ СОРИТЬ» были самыми популярными исправлениями; над «НЕ КУПАТЬ» мы прикалывались несколько лет; «НЕ ЖУРИТЬ» было, наверное, самым оригинальным из всех. Однажды я прокатился зайцем в вагоне первого класса и всю дорогу просидел, словно кол проглотивши, на мягком сиденье, не решаясь смотреть по сторонам. Один раз, по ошибке, я вломился в специальный вагон – первый вагон в каждом поезде – с зеленой табличкой: «ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН». Я опаздывал на поезд и влетел не глядя в ближайший вагон и только потом уже сообразил, куда именно я попал. Три дамы в твидовых костюмах взглянули на меня с молчаливым неодобрением, но мне совсем не было страшно – и вовсе не потому, что мне никто не сказал ни слова, а скорее из-за искреннего разочарования. Я-то думал... но оказалось, что в вагоне для женщин нет никаких специальных аксессуаров, которые бы указывали – пусть даже косвенно – на то, что делает женщин такими особенными.

Как-то раз, возвращаясь домой после школы на обычном поезде в 16:13 от «Бейкер-стрит», я рассеянно изучал карту-схему нашей малиновой линии на стене под сеткой для багажа. И тут справа раздался голос:

– «Верни-Джанкшн», узловая станция.

Старый хрыч. Явно из тех, кого мы с Тони называли буржуазными обывателями. Какой-то весь мертвенный. Я еще подумал, что солнечные зайчики у него на туфлях – это единственное, что в его облике было живого. Готов поспорить, он был *syphilisé*³⁷. Жалко, что не бельгийцем. Он должен был быть бельгийцем. Что он сказал?

– «Верни-Джанкшн», – повторил он. – «Квинтон-роуд». «Уинслоу-роуд». «Гранд-боро-роуд». «Уадсдон». Ты и названий таких-то не слышал, – продолжил он, уверенный в том, что я и вправду не слышал таких названий.

Старый хрыч. Слишком старый на самом деле, чтобы из-за него напрягаться. Обычная униформа пассажира, который ездит по сезонному билету: зонт с золотыми шариками на спицах и золотым же кольцом-держателем; портфель; туфли, начищенные до блеска. В портфеле, вполне вероятно, лежал портативный рентгеновский аппарат из нацистского снаряжения.

– Не слышал.

– Великая была линия. Было в ней... честолюбие, да. Слышал про линию «Брилл»?

Что у него на уме? Собирается меня изнасиловать? Или, может, похитить? С ним лучше не спорить, иначе месяцев через пять-шесть я всплыву где-нибудь в Турции, пухленький, толстенький и без яиц.

– Нет.

– Линия «Брилл» от «Квинтон-роуд». Все станции на «У». «Уадсдон-роуд». «Уэскотт». «Уоттон». «Вуд-Сайдинг». «Брилл». Построена герцогом Бэкингемским. Представь себе. Построил целую линию до своего поместья, вот так вот. Теперь, уже тридцать лет как, это часть линии «Метрополитен». Знаешь, мне довелось прокатиться на последнем поезде. В тридцать пятом, тридцать шестом... где-то так. Последний поезд от «Брилл-плейс» до «Верни-Джанкшн». Как в кино, правда?

Ага, но не то кино, которое я бы хотел посмотреть. И уж тем более – в обществе этого старого пердуна. Он, скорее всего, насильник. Все взрослые дядьки, которые заговаривают с мальчиками в метро, уже насильники по определению. *Ex hypothesi*. Впрочем, вид у него

³⁷ Здесь, как и в первой главе, все построено на созвучии французских слов «сифилитичный» и «культурный», которые пишутся по-разному, но произносятся одинаково.

был хлипкий, а я стоял близко к дверям. И у меня был с собой зонт. Лучше с ним поговорить. Они обычно психуют и злятся, если ты с ними не разговариваешь.

– А вы когда-нибудь ездили первым классом?

Может, надо к нему обращаться «сэр»?

– Это была великая линия, понимаешь? Ее называли «Удлиненной веткой». – (Это что, грязный намек?) – Этот участок от «Бейкер-стрит» до «Верни-Джанкшн». И здесь были пульмановские вагоны. – (Он уже подходит к ответу на мой вопрос?) – При чем ходили буквально до Второй мировой. Два пульмановских состава³⁸. Представь себе... представь себе пульмановские вагоны на линии «Бейкерлу». – (Он рассмеялся презрительно, я – льстиво-заискивающе.) – Два состава. Один назывался «Мейфлауэр». Можешь себе представить? Не помню, как назывался второй. – (Он похлопал себя по бедру, но в плане вспомнить это не помогло. Или это опять был грязный намек?) – Нет. Но один точно назывался «Мейфлауэр». Первые в Европе пульмановские составы на электрической тяге.

– Правда? Первые в Европе? – Я уже почти не притворялся. Мне было действительно интересно.

– Первые в Европе. Эта линия вся дышит историей, понимаешь? Слышал про Джона Стюарта Милля?

– Да. – (Разумеется, нет.)

– Знаешь, о чем он говорил в своей последней речи в палате общин?

Мне показалось, я должен сказать, что не знаю.

– В палате общин. Его последняя речь. Он говорил про метро. Можешь себе представить? Билль об урегулировании железнодорожного сообщения, тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год. В билль была внесена поправка, обязующая все железнодорожные линии оборудовать поезда вагонами для курящих. И Милль поддержал этот законопроект. Произнес величайшую речь. И поправка была принята.

Замечательно. Это было, безусловно, радостное событие.

– Но... знаешь что? Одна железнодорожная ветка, только одна, не подпадала под действие этой поправки. И *это* была линия «Метрополитен».

Он сказал это с таким важным видом, что можно было подумать, будто он лично проголосовал за такое решение в палате общин в тысяча восемьсот каком-то там году.

– А почему?

– Из-за дыма в тоннелях. Тут дело особое, понимаешь?

Может быть, он не такой уж и страшный маньяк. Тем более что мне уже скоро выходить – через три станции, на четвертой. А рассказывал он интересно.

– А расскажите еще что-нибудь. Например, про этот Квинтон-чего-то-там.

– «Квинтон-роуд». Они все были за «Эйлсбери». «Уадсдон». «Квинтон-роуд». Дальше – «Грандборо», «Уинслоу-роуд», «Верни-Джанкшн». – (Если бы он продолжал в том же духе, я бы, наверное, разрыдался.) – Пятьдесят миль от «Верни-Джанкшн» до «Бейкер-стрит», вот это линия. Можешь себе представить – ее собирались тянуть до Нортхэмптона и Бирмингема. От Йоркшира и Ланкашира, через «Квинтон-роуд», через Лондон, соединить ее со старой линией «Саут-Ист» и дальше – через Ла-Манш на континент. Какая линия!

Он умолк. Мимо пронесся пустой школьный двор; металлическая карусель; солнечный зайчик на ветровом стекле.

– И «Внешнюю Кольцевую» они не построили, хотя планы были.

Это был, как я понял, ностальгически-грустный старый хрен. Он рассказал мне про льготную плату для работников железной дороги, про электрификацию, про станцию «Лордс», которую закрыли в начале войны. Он рассказал про какого-то сэра Эдварда Уот-

³⁸ Скорые поезда, обычно дальнего следования, с вагонами первого класса.

кина, у которого были большие прожекты; наверняка это был какой-нибудь честолюбивый старый пердун, который не мог отличить Тьюссо от Тициана.

– Понимаешь, это были не просто амбиции. Тогда люди *верили*. Верили в свои амбиции. А теперь... – Он, должно быть, заметил, как я поскучился; это у меня была такая непровольная реакция на противопоставление «тогда и теперь». – И не надо с презрением относиться к людям Викторианской эпохи, мой мальчик, – сказал он резко. Мне вдруг показалось, что он опять злится. Может, он таки насильник. Может, он сообразил, как я его обхитрил. – Надо отдать им должное. Они сделали много хорошего.

Что?! Я с презрением отношусь к людям Викторианской эпохи?! Да мне не хватало на всех презрения. Я и так уже презирал: тупоумных дебилов, старших учеников, следящих за дисциплиной, учителей, родичей, братца с сестрицей, третью лигу в футболе (северного региона), Мольера, Господа Бога, буржуазных обывателей и нормальных людей... у меня уже не оставалось сил презирать что-то еще. И тем более – что-то такое, что является частью истории и меня непосредственно не касается. Самое большее, на что меня бы могло хватить, так это насмешливо скривить губы. Я взглянул на старого хрыча и попытался изобразить праведное негодование, но это было не то выражение, которое у меня получалось хотя бы сносно.

– Понимаешь, я сейчас говорю не только о тех, кто строил и обслуживал подземку. Я говорю вообще обо всех. Тебе, может быть, неинтересно, – (господи, он опять заговорил!), – но когда пустили первый прямой поезд от «Бейкер-стрит» до «Фаррингдон-стрит», пассажиры вывели подчистую весь буфет на «Фаррингдон-стрит» буквально за десять минут... может быть, они были напуганы и поэтому проголодались... за десять минут. Как стая саранчи.

У меня возникло ощущение, что он давно уже разговаривает сам с собой, но я подумал, что надо бы проявить интерес и задать ему какой-нибудь вопрос. Просто чтобы подстраховаться.

– И тогда же появилось название «Метроленд»? – спросил я, не совсем понимая, о чем, собственно, спрашиваю, но очень стараясь не усмехаться, чтобы он не подумал, что я преисполнен презрения.

– Метроленд? Вот еще вздор. – Он опять повернулся ко мне. – Это было началом конца. Нет, это было значительно позже, во время Первой мировой. Чтобы порадовать агентов по продаже недвижимости. Все это обозвали уютным районом. Уютные домики для удобства героев. Полчаса от «Бейкер-стрит» и приличная пенсия в конце линии, – неожиданно выдал он. – В общем, его превратили в то, что он собой представляет теперь. Спальный район для сытых буржуа.

У меня было такое чувство, как будто меня ударили по голове кирпичом. Эй, дяденька! Погоди! Ты не должен этого говорить! Тебе нельзя этого говорить. Ты посмотри на себя. *Мне* можно *тебя* называть буржуа. Но тебе себя так называть нельзя. Это... это неправильно. Я хочу сказать, что это противоречит всем правилам. Это как если бы школьный учитель признался, что он знает свое прозвище. Это... ладно, как я понимаю, на *такое* можно ответить лишь чем-то очень нетривиальным.

– А вы сами разве не буржуа? – Я мысленно произвел «проверку инвентаря». Его костюм, голос, портфель.

– Ха. Разумеется, я буржуа.

Он сказал это легко, почти ласково. Его тон меня успокоил, но сам ответ озадачил.

6. Выжженная земля

Мы с Тони много работали над достижением полной свободы от всяких условностей и ограничений. После обстоятельного сеанса Брукнера («Замедление пульса; смутная тяжесть в груди; периодич. подрагивание плеч; подергивание стопы. Пойти на улицу и подрагаться с каким-нибудь пидором? Брукнер. 4-я симфония. Дирижер Клемперер») или когда нам было слишком лениво тащиться на улицу ради умеренного эпатажа, мы частенько обсуждали один и тот же больной вопрос.

– Кстати, насчет родителей. Они нас обламывают.

– Думаешь, они это нарочно?

– Может, и нет. Но они все равно нас обламывают.

– Ага. Но, наверное, это не их вина.

– Ты хочешь сказать, это как у Золя: они нас обламывают потому, что их тоже обламывали их родители?

– Дельная мысль. Но они все равно чуточку виноваты, правильно? Хотя бы уже в том, что они так и не поняли, что их обламывают, и живут теперь все обломанные и нас обламывают в свою очередь.

– Согласен. Я и не предлагал, что их не надо наказывать.

– Уф, ты меня успокоил. А то я уже начал переживать.

Каждое утро за завтраком я смотрел на свое семейство и не верил глазам. Во-первых, они все были на месте. Вот уж воистину – странно. Почему прошлой ночью никто из них не сбежал, уже не в силах выносить безысходную пустоту, которую я наблюдал в их жизни? Почему они все сидят за столом, как сидели вчера, и позавчера, и три дня назад, причем сидят с таким видом, как будто они вполне счастливы и довольны, что им предстоит провести в этом доме очередной день?

Прямо напротив мой старший брат Найджел увлеченно читал какой-то научно-фантастический журнал, не обращая внимания на тарелку с хлопьями. (Может быть, именно так он боролся со своей экзистенциальной неудовлетворенностью: бежал от унылой действительности в выдуманные миры «Новых галактик», «Новых миров» и «Удивительных реальностей». Вообще-то я ни разу его не спрашивал, страдает ли он от экзистенциальной неудовлетворенности. На самом деле я очень надеялся, что он нисколько не страдает – такие вещи быстро становятся модными, чего мне совсем не хотелось.) Рядом с ним восседала моя дорогая сестрица Мэри. Она тоже смотрела поверх тарелки и читала надписи на вазочках с солью и перцем: «Соль» и «Перец». И вовсе не потому, что она еще не проснулась толком; за обедом она «читала» ножи и вилки. Когда-нибудь она, наверное, дорастет и до надписей на коробке с кукурузными хлопьями. Ей было тринадцать, и она была настоящей молчуньей. Мне всегда казалось, что я совершенно на них не похож, ни на Найджела, ни на Мэри. А вот они были похожи: лица у обоих были мягкие, добрые и совершенно невозмутимые.

Справа сидел отец, развернув «Таймс» на странице с биржевыми сводками. На отца я тоже совсем не похож. Во-первых, он совершенно лысый. Я готов допустить, что у нас с ним похожая форма челюсти, но глаза у него другие. У меня они проникновенные и пытливые. А у него... в общем, другие. Время от времени он задавал маме какой-нибудь вопрос про сад. Просто так, для проформы. На самом деле ему это было ни капельки не интересно. Мама сидела слева от меня. Она подавала еду, отвечала на все вопросы и ненавязчиво действовала нам на нервы на протяжении всей молчаливой трапезы. На матушку я тоже не похож. Кое-кто утверждает, что у меня мамины глаза; но даже если это так, то больше во мне нет ничего от мамы.

Я часто задумывался, а родственник ли я им вообще? И разве я мог удержать в себе эти мысли и не указать родителям на наши столь очевидные различия?

– Мама, а я у вас не приемный? – (Вполне нормальный вопрос.)

Слева послышалось слабое шевеление. Братец с сестрой продолжали читать как ни в чем не бывало.

– Нет, конечно. Сэндвичи взял?

– Взял, взял. Но может быть, есть хоть какая-то вероятность, что меня перепутали в роддоме? – И я кивнул на Мэри с Найджелом для иллюстрации.

Отец тихонько откашлялся, прочищая горло.

– Тебе пора в школу, Кристофер.

Ладно. Вовсе не исключено, что они мне ввали.

Для нас с Тони отцовство или материнство было преступлением из разряда особо тяжких. Наличие *mens rea*³⁹ было вовсе не обязательным, одного *actus reus*⁴⁰ рождения было вполне достаточно. Рассмотрев все обстоятельства данного дела, равно как и социальное происхождение обвиняемых, мы вынесли следующий приговор: пожизненное условное освобождение преступников на поруки и бессрочные исправительные работы. Что же касается нас самих – жертв, *mal-aimés*⁴¹, – мы давно поняли, что независимости и свободы можно достичь лишь последовательным и непреклонным неприятием всяких условностей и ограничений. Камю превзошел всех со своим «Aujourd'hui Maman est morte. Ou peut-être hier»⁴². Неуправляемость и отрицание всяческих правил считались священным долгом каждого уважающего себя подростка.

Но на практике все оказалось сложнее, чем мы себе представляли. Весь процесс четко разделялся на два этапа. Первый этап – мы называли его «Выжженная земля» – включал систематическое отрицание, упрямое и сознательное противоречие общепринятым нормам, широкомасштабную, уничижительную критику всех и вся с позиций предельного анархизма. В конце концов, мы тоже имели самое непосредственное отношение к поколению «сердитых молодых людей».

– Ты понимаешь, – как-то спросил я у Тони на большой перемене, когда мы поднялись на балкон для шестиклассников и прохлаждались там очень даже неконструктивно, – что мы с тобой тоже из поколения «рассерженных молодых людей»?

– Ага, и мне это нравится, хотя и бесит. – Его неизменная кривая улыбочка.

– И что, когда мы вырастем и состаримся, наши... племянники и племянницы спросят, что мы с тобой делали в эпоху Великих Рассерженных?

– Ну понятное дело: сердились.

– А тебе не кажется, что это какой-то бред, что мы в школе проходим Осборна⁴³ с дремучим Ранкастером? Я имею в виду, разве это не похоже на некую институционализацию?

– Это ты о чем?

– Ну, когда препятствуют бунту интеллигенции, вводя его в санкционированные государством рамки.

– И что?

– А то, что я вот сейчас подумал, может быть, настоящий бунтарский поступок – это как раз бездействие. Самодовольная самоуспокоенность.

³⁹ 1) Намерение обвиняемого, 2) истинная вина (*лат., юр.*).

⁴⁰ Противоправное действие, правонарушение (т. е. та фаза действия, за совершение которой законом предусмотрено наказание; физическая, объективная сторона преступления (*лат., юр.*)).

⁴¹ Малолюбимые (*фр.*).

⁴² «Сегодня моя мама умерла. Или, может быть, вчера» (*фр.*).

⁴³ Название поколению «рассерженных молодых людей» (своего рода английский аналог американских битников) дала пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе» (1956).

– Все это умствование и схоластика, – хмыкнул Тони. – Подсчет числа ангелов на кончике иглы.

Проблема в том, что ему было проще сердиться – у него было больше поводов и причин. Родители Тони (как мы с ним предполагали, частично из-за того, что им пришлось пережить в гетто) были: (а) набожными, (б) дисциплинированными, (в) бедными и (г) до безумия любили своего сына, каковая любовь была вся пропитана чувством собственности. Так что Тони, чтобы рассердиться, вовсе не требовалось напрягаться; ему достаточно было просто быть непочтительным сыном, который настаивает на своей независимости от родителей, транжирой, лодырем и раздолбаем, а также ярым агностиком – и вот вам, пожалуйста: сердитый молодой человек как он есть. Когда в прошлом году он случайно сломал дома дверную ручку, отец три недели не давал ему карманных денег. Подобные проявления были весьма полезны в плане поддержания духа сердитого. А у меня все было наоборот. Если я что-то ломал, грубил родителям или упрямился, мои папа с мамой – до неприличия терпимые люди – просто и доходчиво разъясняли мне, почему меня вдруг «понесло». («Это у тебя возрастное, Кристофер. Скоро пройдет».) Меня никогда не ругали. Помню, однажды я практиковался дома, отрабатывая боксерские удары, – сделал обманный выпад, неудачно впилил кулаком в стену и разбил пальцы в кровь. И что сделала моя матушка? Невозмутимо выдала мне йод и бинт.

Разумеется, мы понимали, что «Выжженная земля» еще далеко не все. Проницательные не по годам, мы с Тони как-то сразу прониклись мыслью, что одно только отрицание и неприятие мировоззрения и морали твоих родителей – это не более чем грубая реакция на уровне рефлексов. Точно так же, как богохульство подразумевает наличие веры, всеобъемлющее отрицание запретов подразумевает, что есть некая система ценностей, которая тебя не устраивает, но без которой ты бы не понял, что именно тебе не нравится в жизни. Вот почему мы могли жить с родителями, нисколько не поступаясь принципами. Мы изучали отрицательные примеры.

«Выжженная земля» была всего лишь первым этапом. Второй этап мы условно назвали Реконструкцией. То есть по нашему расписанию после тотального разрушения предполагалась конструктивная застройка; хотя у нас было немало веских причин – и хороших метафор – для оправдания откровенного нежелания заниматься этим аспектом нашего долгосрочного плана.

– Так что насчет Реконструкции?

– А что насчет Реконструкции?

– Может быть, стоит составить какой-нибудь приблизительный план, хотя бы в общих чертах?

– Так мы уже даже его воплощаем, план. ВЗ – это первый этап.

– Э-э-э-э-э...

– Я хочу сказать, на данном этапе нам не стоит заикливаться на чем-то одном и жестко планировать будущее. В конце концов, нам всего по шестнадцать.

Да, это было логично. По-настоящему жизнь начинается только тогда, когда окончишь школу. Мы были уже вполне взрослыми, чтобы это понимать. Когда окончишь школу, тебе уже будет можно:

– ...Принимать Ответственные Решения...

– ...Заводить Отношения...

– ...Становиться Знаменитым...

– ...Самому Выбирать, Как Одеваться...

Но это будет потом, а пока тебе можно всего ничего: обсуждать и осуждать родителей; объединяться с единомышленниками, которые ненавидят то же, что ненавидишь ты; не общаясь напрямую с ребятами из младших классов, вести себя так, чтобы они все равно

тебя знали и уважали; решать, каким узлом завязать галстук, одинарным виндзорским или двойным. И вправду немного. Совсем немного.

7. Кривая вранья

Воскресенье – вот день, для которого был создан Метроленд. Утром по воскресеньям, когда я лежал в кровати и размышлял о том, как убить день, два звука неизменно разносились по довольному, тихому пригороду: звон церковных колоколов и гул поездов. Раздражающе настойчивые, настырные колокола не давали тебе заснуть, и ты с нетерпением ждал, когда же они наконец заткнутся. Поезда, подходившие к станции Иствик, громыхали сильнее обычного, как будто радуясь, что сегодня у них так мало пассажиров. И только после полудня – словно по какому-то негласному, но неоспоримому соглашению – к поездам «подключались» автомобили: двигатели ревели, набирая ход, тормозя, сбрасывая обороты, набирая ход, тормозя, сбрасывая обороты. В редкие паузы тишины можно было расслышать тихий лязг садовых ножниц и – этот последний звук ты скорее воспринимал нутром, а не слышал ушами – легкий скрип замши ботинок и дамских шляпок.

Это был день садовых шлангов (у каждого дома был внешний кран, за который мы платили дополнительно) и бесноватых детишек, которые непременно орут как резаные где-то за два-три двора от тебя; это был день надувных пляжных мячей и паникующих водителей-новичков, которым никак не дается разворот в три приема; это был день молодых людей, которые берут родительские машины, чтобы съездить в «Турникет» выпить пива перед обедом, и развлекаются тем, что закидывают прихваченные оттуда синие фунтики с солью в соседские сады. По воскресеньям в Метроленде, казалось, всегда было тихо и солнечно.

Я ненавидел воскресные дни – со всей злостью и яростью разочарованного человека, которому постоянно приходится убеждаться, что он вовсе не так независим, как того хотелось. Я ненавидел воскресные газеты, которые пытались впихнуть тебе в сонные мозги какие-то умные мысли, вовсе тебе не нужные; я ненавидел воскресные радиопередачи, бессодержательные и скучные; я ненавидел воскресное телевидение, со всеми этими «Мозговыми трестами»⁴⁴ и серьезными фильмами про серьезных взрослых на фоне эмоциональных кризисов, ядерной войны и т. д. и т. п. Мне не нравилось сидеть дома, когда яркие солнечные лучи крадучись ползут по комнате и неожиданно бьют прямо в глаза; мне не нравилось гулять по улице, когда то же жаркое солнце размягчает тебе мозги, так что они растекаются внутри черепушки. Я ненавидел свои воскресные обязанности по дому: мыть машину, когда мыльная вода затекает снизу вверх (как, интересно, это получается?) тебе в подмышку; выгребать траву из газонокосилки и отскребать от грязи садовую тачку. Я ненавидел работать и ненавидел бездельничать; гулять по полю для гольфа и встречать там знакомых и незнакомых, которые тоже гуляют по полю для гольфа; и заниматься одним нудным делом, которым всегда занимаешься по воскресеньям, – ждать понедельника.

Единственное, что вносило какое-то разнообразие в монотонные воскресные «будни», были поездки к дядюшке Артуру. Обычно мама с утра объявляла:

- После обеда мы едем в гости к дяде Артуру.
- А почему обязательно ехать?

Возражение, уже ставшее ритуальным. Я ни разу не добивался того, чтобы поездку к дядюшке отменили. Впрочем, на самом деле я на это и не рассчитывал. Мне просто казалось, что подобный пример независимости суждений будет полезен для Найджела с Мэри.

- Потому что он твой дядя.
- Он будет моим дядей и на следующие выходные. И на через следующие.
- Дело не в этом. Мы у него не были уже два месяца.

⁴⁴ Передача типа ток-шоу, когда видные политические деятели и специалисты в разных областях отвечают на вопросы телезрителей.

- А откуда ты знаешь, что он хочет нас видеть?
- Конечно он хочет нас видеть. Мы у него не были целых два месяца.
- Он что, звонил и приглашал нас приехать?
- Конечно не звонил. Ты же знаешь, он никогда не звонит.
(Слишком скромный, наверное.)
- Тогда откуда ты знаешь, что он хочет нас видеть?
- Потому что он всегда хочет нас видеть, когда мы не приезжаем к нему слишком долго.

И не зли меня, Кристофер.

- А вдруг он книжку читает или занимается чем-нибудь интересным?
- Ну, я бы лично отложила книжку, чтобы пообщаться с родственниками, с которыми не виделась целых два месяца.
- А я бы не отложил.
- Мы сейчас не о том говорим, Кристофер.
- А о чем мы сейчас говорим?
- (Найджел уже нарочито зевал.)
- Мы говорим о том, что после обеда мы едем к дяде. Так что иди вымой руки и садись за стол.

- А можно мне взять с собой книжку?
- Ладно, возьми. Почитаешь в машине. Но когда мы приедем, оставишь ее в машине.

Это невежливо – приходить в гости с книжкой.

- А ходить в гости, когда тебе не хочется идти ни в какие гости, – это вежливо?
- Кристофер, иди мыть руки.
- Можно мне взять книжку в ванную?

И так далее и тому подобное. Разговоры эти могли продолжаться до бесконечности. И что самое интересное, матушка оставалась непробиваемо невозмутимой. Свое сдержанное неодобрение она выражала лишь тем, что называла меня по имени. Она знала, что я поеду. И я тоже знал, что поеду.

После обеда мама помыла посуду, и мы загрузились в наш неуклюжий черный «моррис-оксфорд» с мягкими, как подушки, сиденьями. Всю дорогу Мэри апатично таращилась в окно, так что ветер трепал ее длинные волосы, а она даже не пыталась их поправить. Найджел уткнулся в свой журнал. Я обычно насвистывал разные песенки и мелодии, всегда начиная с песни Ги Беара, которую часто передавали по радио и которая начиналась со слов: «Cerceuil à roulettes, tombeau à moteur»⁴⁵. Я это делал частично для поддержания мрачного настроения и частично – в знак протеста против того, что родители не разрешали включать радио. В нашем «моррисе-оксфорде» была «Моторола», встроенный радиоприемник, и, на мой взгляд, это было единственное преимущество неиностранный, необтекаемой, не красной и неспортивной машины – и единственная причина, почему ее вообще стоило покупать. У нас на заднем стекле была даже водостойкая несмываемая наклейка с рекламой «Моторолы»: Я ТОЖЕ ПОДВЕРГСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН. Родичи не разрешали включать радио в дороге, потому что музыка якобы отвлекает водителя (и не разрешали включать его в гараже, потому что от этого садится аккумулятор).

Минут двадцать аккуратной и безопасной езды, и мы подъехали к бунгало дяди Артура в окрестностях Чешема. Дядя Артур – забавный старый хрыч. Хитрый, пронырливый и язвительный, и еще – врун, каких поискать. Я всегда просто балдел от того, как он врет. Он врал не для выгоды и даже не для эффекта, своим враньем он не преследовал никаких целей – он врал исключительно потому, что его это забавляло. Однажды мы с Тони провели исследование вранья – наверное, первое в истории научное исследование вранья – и после тщатель-

⁴⁵ «Гроб на колесиках, могила с моторчиком» (фр.).

ного изучения всех знакомых составили график на листе миллиметровки, «кривую вранья». С виду все это напоминало горизонтальное сечение пары сисек, с вершинами-сосками на отметках, соответствующих шестнадцати и шестидесяти годам. Судя по этому графику, мы с дядей Артуром как раз совпадали по возрастным пикам вранья.

– Всем привет! – крикнул он, когда мы вырулили на подъездную дорожку.

Он был весь седой, сильно горбился – хотя мог держаться прямее, просто он горбился потому, что согбенные старики вызывают больше сочувствия, – и одевался вызывающе неряшливо исключительно для того, чтобы все его жалели, несчастного холостяка, за которым некому присмотреть. Я так думаю, что он не женился, потому что не нашел подходящую богатую дуру, которая бы содержала его и при этом не замечала его недостатков.

– Без приключений доехали, я надеюсь?

– Очень даже неплохо, Артур, – отозвался отец, опуская стекло со своей стороны. – Слегка задержались в пробке у Четырех Дорог, но там всегда пробка по воскресеньям, так что это нормально.

– Ага, эти чертовы недоучки, которые выезжают кататься только по выходным. Житья от них нет, идиотов. Упс, извините за выражение. – Он сделал вид, что только теперь заметил, как я выхожу из машины. – Как поживаешь, малыш? Я смотрю, у тебя с собой книжка.

Это было карманное издание «Лексикона прописных истин» Флобера.

– Да, дядя. Я знал, что ты будешь не против.

(Я выразительно покосился на матушку.)

– Конечно не против. Но сперва мне потребуется твоя помощь.

Упс.

Дядя Артур с кряхтением выпрямился, схватившись за поясницу и всем своим видом давая понять, как он стар и немощен, и принялся растирать толстые швы на своей вязаной кофте, как будто это были мышцы, сведенные судорогой.

– У меня там в саду один пень, мерзопакостный просто пень, я с ним умаялся. Сходи сам посмотри. А вы все пока проходите в дом.

(Найджел был освобожден от подобных поручений из-за каких-то невразумительных болей в груди; Мэри – на том основании, что она девчонка; родители – потому, что они родители.)

И все же я восхищался этим старым пронырой. Если у него и вправду болела спина, то исключительно потому, что подушка на кресле неудобно завернулась под поясницей. Он никогда в жизни не стал бы возиться в саду и выкорчевывать какие-то пни в воскресенье после обеда. Полчаса в кресле с воскресной газетой – вот и все физические упражнения, на которые он мог бы себя подвигнуть. Просто дядя мне мстил – это была замысловатая, изощренная и долгосрочная месть, которая растянулась на несколько лет. Однажды, когда я был еще совсем маленьким и наивным, мы приехали к дяде Артуру, и он встретил нас страшной сказкой о том, как он напался в саду. Пока он долго и нудно рассказывал папе про сорта капусты, я пошел на веранду и потрогал его кресло. Теплое, как гусиное дерьмо. Как я и предполагал. Когда на веранду поднялись все остальные, я заметил как бы между прочим:

– Дядя Артур, как же ты говоришь, что копался в саду... твое кресло все еще теплое.

Он одарил меня таким взглядом, что я сразу понял: он никогда меня не простит, – и вдруг сорвался с места и унесся вглубь дома с живостью и проворством, весьма нетипичными для немощного старика, который смертельно устал, пропалывая капусту.

– Фердинанд! – заорал он благим матом. – Фердинанд. ФЕРДИНАНД!!! – Из гостиной послышалось дружелюбное шлепанье лап, какое-то слюнявое чавканье и глухой удар тапкой по боку лабрадора. – Не лезь в мое кресло и пеняй на себя, если я тебя еще раз поймаю.

И после того случая всякий раз, когда мы приезжали к дяде Артуру, он находил для меня какую-нибудь не особо напряженную, но зато неприятную работу: отвернуть глубоко запрятанный зажим, чтобы слить масло из его машины («Только ты осторожней, малыш. Не испачкайся»), или вырвать крапиву («Прости, малыш, у меня все перчатки дырявые, а других нет»), или сбегать вдогонку за почтальоном («Знаешь что... я засеку время»). Тут он просчитался: я неспешно прогулялся туда, упустил почтальона и наверстал время, прибежав обратно со всех ног. На этот раз дядюшка поберег для меня здоровенный пенёк. Дядя Артур вырыл вокруг него мелкую канавку, оставил на виду несколько тонких корней и специально присыпал землей толстый корень – с ногу, наверное, толщиной.

– Тебе не составит труда его выкопать, малыш. Если, конечно, корни уходят неглубоко.

– Ага. И там еще этот, большой. Который ты засыпал землей, – сказал я.

Наедине друг с другом мы были достаточно откровенны. Тем более что дядя мне нравился.

– Засыпал землей? Ты о чем, малыш? Что? Там еще корень? Ой, мамочки. Подумать только: такой вроде бы небольшой пенек – и столько корней! Ну да ты у нас мальчик умный и сообразительный, я даже не сомневаюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Да, кстати, ты осторожнее с киркой. С нее головка слетает. Ладно, за чаем увидимся. А я пойду в дом, а то что-то прохладно. – С тем он и ушел.

У меня было несколько вариантов военной хитрости, которые, впрочем, не отличались особым коварством. Можно было создать иллюзию бурной деятельности, раскидав землю в радиусе нескольких ярдов от пня (скажем, до парников с латук-салатом). Можно было сломать кирку и лопату, но тогда мне пришлось бы объясняться с отцом. Самое гениальное, что я придумал – хотя от этой идеи пришлось отказаться за неимением пилы или хотя бы ножовки, – это спилить пенёк как можно ближе к земле и присыпать его землей. («Ой, дядя, прости, ты же не говорил, что мне нужно выкорчевать этот пенёк, – мне показалось, ты попросил меня что-то придумать, чтобы ты не спотыкался об него в темноте».)

Наконец в качестве компромисса я избрал тактику выжидания. Я выкопал широкую траншею вокруг пенька, по ходу перерубая лопатой длинные и тонкие корешки, но при этом не трогая более или менее толстые корни, на которых пенек, собственно, и держался. Я не работал, а скорее прикалывался – махал киркой с маниакальным упорством, не пошел пить чай, якобы заработавшись, и в конце концов добился-таки того, что дядюшка сам вышел в сад.

– Не простудись! – крикнул я, когда он подошел. – Здесь прохладно, если не шевелиться.

– Просто пришел посмотреть, закончил ты или нет. Господи, черт меня раздери, что ты делаешь, болван?

К этому времени я вырыл вокруг пня траншею в фут шириной и глубиной почти в три штыка.

– Пытаюсь его подкопать, – пояснил я с видом профессионального землекопа. – Когда ты сказал, что корни могут уходить глубоко в землю, я решил, что сперва нужно сделать глубокий подкоп, чтобы потом было легче извлекать. Вот я уже сколько достал. – Я с гордостью указал на жалкую кучку тонких, как пруттики, корешков.

– Ах ты, умник! Дебил малолетний! – заорал на меня дядюшка. – Подставь тебе поросший зад, и ты знать не будешь, чего с ним делать.

– Чай уже готов, дядя? – вежливо поинтересовался я.

После чая – обычно за чаем у дядюшки я развлекаюсь тем, что наблюдаю, как дядя Артур ест имбирно-ореховые сухарики, макая их в чай; я все надеюсь, что излишне размокший сухарь плюхнется ему на кофту, – я пошел в гараж на предмет тихо повозбуждаться. Я был в том возрасте, когда думаешь о сексе практически постоянно, но если бы только дума-

ешь. Дай только малейший повод – и у тебя сразу встает в штанах. Сколько раз по дороге в школу мне приходилось прижимать ранец к бедрам и напряженно думать о чем-нибудь посторонне-нейтральном – например, повторять про себя грамматические правила, – чтобы снять осязаемое, и *весьма* осязаемое, возбуждение. Объявления из серии «требуется специалист с ОПЫТОМ работы», псевдоисторические рассказы о древнеримских цирках и даже, кто бы мог подумать, «Авиньонские девушки» Пикассо – все это действовало на меня возбуждающе и заставляло украдкой лезть в карман брюк, чтобы подправить бугор.

В дядюшкином гараже меня привлекали стопки «Дейли экспресс», аккуратно перевязанные бечевкой. Дядя Артур Берег и Хранил Вещи – именно так, с большой буквы. Я так думаю, это началось во время войны и обуславливалось его обычной извращенной логикой. Он, должно быть, решил, что собирать газеты и связывать их в аккуратные стопки – это тоже способствует общей победе, но притом не слишком напряжно. Впрочем, мне это было лишь на руку. Пока взрослые обсуждали закладные, зеленые насаждения и толкатели клапана, пока Найджел с Мэри мыли посуду, которую им «разрешили» помыть, я кайфовал, развальясь, как турецкий паша, в старом продавленном кресле в дядюшкином гараже, с тремя десятками номеров «Дейли экспресс». По моему скромному мнению эксперта, самой сочной и вкусной колонкой была «Эта Америка», где ежедневно печатали как минимум одну историю с сексуальным подтекстом; на втором месте стояли обзоры фильмов и дальше по нисходящей – светские сплетни (роскошные адюльтеры возбуждали меня чуть ли не до оргазма), публикующиеся по кусочкам романы Яна Флеминга, а также полицейская хроника, где были описаны случаи изнасилования, инцеста и непристойного поведения. Бережно держа на коленях пожелтевшие листы, я вновь и вновь перечитывал эту хронику жизни, которая очень скоро будет и у меня. Со стороны все это выглядело совершенно невинно; никому бы и в голову не пришло, что яоргазмирую над старыми газетами. Тем более что у меня собиралось немало материала, чтобы не опозориться в разговорах с нашим продвинутым Голдом, которому отец разрешал читать «Новости со всего мира» в надежде, что так ему самому не придется растолковывать сыну азы половой жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.